СОКРАТИЧЕСКАЯ ТЕМА У ДОСТОЕВСКОГО

О.В. Марченко

> ...Кто-нибудь может сказать: "Но разве, Сократ, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно и в молчании?" Вот в этом-то и всего труднее убедить некоторых из вас. В самом деле, если я скажу, что это значит не слушаться бога, а что, не слушаясь бога, нельзя оставаться спокойным, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу; с другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, пытая и себя, и других, есть к тому же и величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека, – если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. На деле-то оно как раз так, о мужи, как я это утверждаю, но убедить в этом нелегко.
>
> *Апология Сократа*

С тех пор, как дельфийский оракул возвестил, что "Сократ превыше всех своею мудростью", сын Софрониска и Фенареты стал в европейской традиции образцом философа; человек самый лучший из всех, кого довелось нам узнать на нашем веку, да и вообще самый разумный и справедливый, – свидетельствовал Платон. "Французским Сократом" называли современники Пьера Абеляра, "украинским Сократом" – Григория Сковороду. "Китайским Сократом" именовали Конфуция. Утверждение Чаадаева, что жизнь, не пробужденная работой самосознания, напоминает сон и не является в собственном смысле слова жизнью – сократически ориентировано. Так же как и его знаменитое: "Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества". Не шумите, афиняне!

Внимательно присмотревшись к авторским характеристикам Степана Трофимовича Верховенского, одного из центральных персонажей романа "Бесы", можно заметить ряд черт, рисующих его с несколько неожиданной стороны[1]. «(...) Про меня (...) нашептали (...), – жалуется "главный учитель" своей покровительнице генеральше Ставрогиной, имея в виду городских обывателей, – что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма...» (10 16). Смысл этих инвектив прояснится, если вспомнить обвинения, предъявленные афинянинами Сократу. "Сократ виновен в том, что не признает богов, признаваемых государством, а вводит другие, новые божества; виновен также в том, что развращает молодежь" (*Ксенофонт*. Воспоминания о Сократе 1, 1. См. также: *Платон*. Апология 24в; *Диоген Лаэрций* II, 40).

Действительно, старший Верховенский подобно Сократу всегда окружен молодежью, он – учитель и духовный наставник, постоянно ведущий беседы о "всечеловеческом обновлении" и дома, в кружке "наших", и в Санкт-Петербурге, и за границей. "По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, – пишет он из Берлина генеральше Ставрогиной, – и у нас чуть не афинские вечера" (10 : 25). Программа "всечеловеческого обновления", подробнейшим образом разработанная Шигалевым, одним из многолетних слушателей Степана Трофимовича, весьма напоминает, как уже отмечалось комментаторами, социально-политическую утопию Платона.

К сократической теме Достоевский обратился уже в первой своей повести "Бедные люди" Как справедливо отметил К.А. Баршт, черты облика великого афинского философа использованы при характеристике Макара Девушкина[2]. В качестве возможного источника указывается книга К. Ведерхольма "История древней философии, приспособленная к понятию каждого образованного человека" (М., 1842. Ч. 2). В ней писатель мог обнаружить и текст знаменитого обвинения: "Наконец явились на Сократа обвинители: Мелит, молодой трагический писатель, Ликон, публичный оратор, и Анит, кожевник и демагог вместе. Сократ преступен: 1) не признает богов, которых чтит государство, а вводит новых (своего гения); 2) развращает юношей" (с. 17). Достоевский мог воспользоваться и первоисточниками. "Воспоминания" Ксенофонта были изданы в русском переводе в 1875 г. И.Ф. Синайским. В переводах платоновой "Апологии Сократа" не было недостатка: в 1842 г. она была издана в составе собрания сочинений Платона, подготовленного В.Н. Карповым (и в 1863 г. переиздана). "Апология" вошла и в издание Платоновых "философских бесед", подготовленных в 1861 г. А. Клевановым. В отличие от изданий Ксенофонта, издания Платона сопровождены обширными вступительными статьями и комментариями[3]. Наконец, не следует забывать и о "Лекциях по истории философии"

Гегеля; в 1854 г., еще будучи в Омске, Достоевский в письме к брату Михаилу настоятельно просит их прислать. «...Пришли мне непременно Гегеля, в особенности Гегелеву "Историю философии" С этим вся моя будущность соединена!» (28/1 173)

Сократическая тема вполне определенно звучит и в следующем заявлении старшего Верховенского: "Что касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я – не христианин. Я скорее язычник, как великий Гёте или как древний грек" (10 33). То, что жители провинциального городка имели в виду, называя Степана Трофимовича "рассадником губернского атеизма", выглядит несколько сложнее: «В бога учитель наш веровал. "Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? (...) я в бога верую, (...) я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка)" (10, 33). Упоминание "существа, себя лишь во мне сознающего", противопоставленное общепринятой вере, отсылает к знаменитому *демону* Сократа, его "внутреннему голосу", который всякий раз вполне апофатически отклонял афинского философа от того, что он намеревался сделать, а склонять к чему-либо никогда не склонял (*Платон.* Апология 31 cd). Греческое слово δαιμόνιον, означающее низшее божество, в тексте Нового Завета употребляется в значении *злой дух, дьявол, бес*[4]. Инобытие этого *демона* – "маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся" Ставрогина и, конечно же, взявший *особую методу* Черт из кошмара Ивана Карамазова, *злой гений* картезианских "Метафизических размышлений", цитирующий Декарта: "...Я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверное, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана – все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего *я*, существующего довременно и единолично...» (15 77)

Придав Степану Трофимовичу Верховенскому некоторые черты Сократа, Достоевский однако отказал почтенному "главному учителю" в ясности самосознания. «Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, – впрочем скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. "Клянусь же вам и пари держу, – говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!" Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды» (10, 21–22). Повествование на первых страницах романа строится по очень простой схеме, Хроникер упоминает факт,

приводит интерпретацию этого факта старшим Верховенским, а затем поясняет, как все происходило на самом деле. Несовпадение интерпретаций поразительное! «Он, например, чрезвычайно любил свое положение "гонимого", и, так сказать, "ссыльного". (...) ...Деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, – так сказать, от "вихря сошедшихся обстоятельств" И что же? Не только "вихря", но даже и "обстоятельств" совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения!» (10, 7, 8).

Достоевский с его огромным интересом к этой проблеме не мог не обратить внимания, что Сократ, эта целостная, монолитная личность, явился предтечей ряда совершенно непохожих друг на друга направлений и школ. Отличаясь друг от друга по самым принципиальным пунктам, все они тем не менее указывали на Сократа как на своего учителя и вдохновителя. Платон с его учением об интеллигибельном мире идей; Антисфен-киник и особенно Диоген Синопский (которого современники называли "безумствующим Сократом") с их эпатажем и отвержением культурных нормативов; киренаики с проповедью наслаждения как высшей ценности и т.п. Столь же несхожи и "воспитанники" старшего Верховенского – Ставрогин, Липутин, Шатов, Виргинский, Шигалев и, конечно же, сын Петр. В свою очередь, Ставрогин наделяет различными, принципиально несводимыми идеями Петра Верховенского, Кириллова и Шатова. Теория Раскольникова проявляет свои скрытые возможности в варианте Лужина и в варианте Свидригайлова. Идея Ивана Карамазова пародируется Чертом и варьируется Смердяковым. "Сократ оказал широкое и глубоко идущее образовательное влияние в царстве мысли... – разъяснял этот парадокс Гегель. – Субъективно влияние Сократа было формально, состояло лишь в том, что он вызвал разлад в индивидууме; содержание же было предоставлено капризу и произволу каждого, потому что его принципом было субъективное сознание, а не объективная мысль. ...Самые разнообразные школы и основоположения вышли из этого учения Сократа, и это обстоятельство ему ставилось в упрек; но оно вызывалось неопределенностью или абстрактностью самого его принципа"[5]. Достоевский указал на принципиальную двойственность, двойничество, двусмысленность *слова*, не только требующего для себя некоего внешнего противо-слова, но и перманентно расслаивающегося внутри себя, обнаруживающего свое "подполье", обратимость, открытость любой интерпретации.

> Всей чаровательь Эллады, искуснейший в доводах тонких,
> С полуаттической солью всех риторов перешутивший[6].

Однако именно Степану Трофимовичу Достоевский доверяет высказать, пусть в сниженной, откровенно пародийной форме одну из самых дорогих для него идей, которую он отстаивал на протяжении всей жизни. Причем высказать в самый разгар бесовского *праздника* (существенная пародийность романов Достоевского родственна платоновскому диалогу; атмосфера же праздника и кануна праздника – лейтмотив платоновских сочинений, подчеркивала Т.Н. Васильева): "А я объявляю, что Шекспир и Рафаэль – выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь... (...) Да знаете ли, знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! (В.В. Розанов даже не пытался избавиться от этой интонации! – *О.М.*) Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, – знаете ли вы это, смеющиеся, – обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. Не уступлю!" Нельзя не обратить внимания и на то, что старший Верховенский – единственный персонаж, кому (авторским решением) дается выйти за пределы беснующегося града.

Художественный мир, созданный гением Ф.М. Достоевского, настолько завораживал русских религиозных мыслителей начала XX в., что грань между художественным вымыслом и действительностью становилась для них условной, зыбкой, проницаемой, и одно порою переходило в другое, и наоборот. По-видимому, нечто важное у достоевских персонажей, вовлеченных в событие искания и испытания истины с существенным сращением идеи и ее носителя (М.М. Бахтин), с неизбежным драматизмом, двойственностью и *двойничеством*, касанием *миров иных и подпольем*, интонировало самому душевному строю, а, может быть, и создавало впервые такой душевный строй русских философов, определяя как радикализм их мышления и поведения, так и формы самоописания. Теперь образцом философа становится герой Достоевского. Более того, художественная реальность романов Достоевского, с ее необъятными запасами времени (σχολή), в котором, как в *царстве мертвых* или в захолустном российском городке, *Некрополисе*, раскрывается вечность ("мы... сошлись в беспредельности... в последний раз в мире"), где встречаются Парменид и Аристотель, Сократ и Декарт, Чаадаев и Ставрогин, Пушкин и инок Парфений, – эта романная реальность становится реальностью философской par exellens. "...Хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского; конечно, под другим именем, но тоже архиерей будет проживать в

монастыре на спокое (замысел "Жития великого грешника" – *О.М.*). (...) Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев, после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, например за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие: Белинский наприм⟨ер⟩, Грановский, Пушкин даже. (...) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений" (письмо Достоевского А.Н. Майкову в марте 1870 г. – 29/1 118). В этой философской реальности пробуется "на излом" европейский философский дискурс от Парменида до Ницше, здесь сталкиваются не только мировоззрения, не только точки зрения и формы ви́дения мира, но прежде всего сами способы осуществления этих ви́дений, сталкиваются *онтологии*. "...Автор почитал возможным существование такой драмы, (...) где бы не речь, подчиненная минутным впечатлениям, но целая жизнь одного лица служила бы вопросом или ответом на жизнь другого", – определял свою творческую задачу В.Ф. Одоевский, автор первого русского философского романа "Русские ночи"[7]. Задачу, для художественного дарования Одоевского оставшуюся непосильной, выполнил с непревзойденной степенью совершенства Достоевский, с его чрезвычайно острым ощущением современности как эпохи глобального кризиса христианской культуры, проявляющегося в распаде традиционных форм жизни, душевном хаосе и расслабленности, нравственной анархии, скептицизме, безверии и беспринципности, чреватых чудовищными духовными, социальными и политическими потрясениями. Отсюда обилие и глубина художественных образов, отражающих многообразие православного религиозного переживания и богоборческого бунта. Разнузданное рационализирование, в котором боль и страдание являются состояниями бытия, а Бог – страхом перед болью, "ничто", неизбежно ведущее к самооправданию, вседозволенности и человекобожию, представлено персонажами-идеологами, носителями утонченно-софистических теорий. И рядом – образы смирения, кротости, всепрощения, в которых слиты воедино судьба, вина, необходимость, долг, открытость страданию, – такие глубины религиозного опыта, где немыслима теория, неосуществима работа понятия, но ощущается действенное присутствие Бога[8].

Достоевский "жив среди нас, – говорил в 1911 г. Вячеслав Иванов, – потому что от него или чрез него все, чем мы живем, – и наш свет, и наше подполье. Он великий зачинатель нашей культурной сложности. До него все в русской жизни, в русской мысли было просто. Он сделал сложными нашу душу, нашу веру, наше искусство, создал, – как Тёрнер создал лондонские туманы, – т.е. открыл, выявил, облек в форму осуществления – начинавшуюся и еще не осознанную

сложность нашу (...). ...Он принес нам откровение личности. (...) Достоевский был змий, открывший познание путем отъединенной, самодовлеющей личности и путем личности, полагающей свое и вселенское бытие в Боге. Так он сделал нас богами, знающими зло и добро, и оставил нас, свободных, выбирать то или другое, на распутье"[9].

Уже при жизни В.С. Соловьева горячо обсуждалось, прототипом кого из братьев Карамазовых он послужил: Ивана – или все же Алеши; это означало готовность современников понимать Соловьева как персонажа романов Достоевского. В начале 1870-х в Москве, писал племянник философа, «Соловьева начали окружать "странные люди", мистики, колебавшиеся между православием, спиритизмом и... выпивкой, видевшие в молодом философе существо "сверхчеловеческое" "Неужели они думают, – говорил как-то Владимир Сергеевич моему отцу, – что у меня не хватило бы пороху основать секту?" И некоторые люди впоследствии, когда в 90-х годах Соловьев отказался от прежних широких практических задач и перешел к философии и публицистике, с горькой иронией называли его "неудавшимся Мессией" В общем это окружение странными энтузиастами напоминает окружение Николая Ставрогина в романе Достоевского "Бесы" и не один Шатов готов был с горечью воскликнуть: "Много вы значили в моей жизни, Владимир Сергеевич!"»[10]

"Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое... Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел...", – говаривал незабвенный Порфирий Петрович. "Ты загипнотизировал себя и близких тебе крайностями своей натуры. Словно так и быть должно, что ты или горишь огнем Божиим или распаляешься огнем сатаны. Ты приучил себя к мысли, что иначе не может быть, и без ужаса думаешь о том, что и в будущем ждет тебя такая же жизнь безумных колебаний", – это уже из автохарактеристики Валентина Павловича Свенцицкого, весьма заметного персонажа российской интеллектуальной жизни пореволюционной поры[11]. Вот уж кому от младых ногтей дано было созерцать две бездны разом! Участник философского семинара С.Н. Трубецкого, один из основателей полулегального "Христианского Братства Борьбы", активный деятель Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева и Вольного богословского университета в Москве, автор (вместе с В.Ф. Эрном) сборника "Взыскующим Града" (1906), задуманного по образцу "Дневника писателя" Достоевского, он выступает с пользующимися шумной известностью докладами о христианстве и революции, христианстве и терроризме, резко критикует официальную церковь, атеистическую и позитивистскую идеологию интеллигенции, противоречивые искания многочисленных мистико-декадентских круж-

ков. «Разве может Карамазов-отец, съеденный блудом, понять смысл любви? Но и "мистики", духовным блудом омертвившие душу свою, неспособны на непосредственное, живое, целомудренное религиозное чувство. Оно сейчас же делается материалом для духовного блудодействия: его таскают по журфиксам, в нем копаются на глазах у всех, а если есть литературный талант, то еще и тащут в типографию»[12]. Проповедник христианского аскетизма в самых суровых его формах, он производил ошеломляющее впечатление на современников; что-то гипнотическое было в этом человеке, утверждают близко знавшие его В.Ф. Эрн, С.Н. Булгаков, В.А. Тернавцев, Ф.А. Степун и др. И *вдруг* скандал: Свенцицкого исключают в конце 1908 г. из состава Религиозно-философского общества за "ряд действий, явно предосудительных" (совершение которых он в частном письме признал). О них он чуть не открытым текстом рассказывал и в памфлете "Письма ко всем" (1907), и в нашумевшем романе "Антихрист" (1908), главный герой которого под личиной благообразия ведет отвратительную тайную жизнь, цинично обманывая близких и с ужасом ощущая, что в нем поселился и крепнет, растет, пожирает его бессмертную душу – *сатана*. Все это – двойная жизнь и литературная "исповедь" – было по сути неким экзистенциально-метафизическим экспериментом в духе то ли Подпольного человека, то ли Ставрогина, со схожими, отчасти, последствиями (Николай Всеволодович, напомню, рассказывал как-то, что «он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и "разумное", "в разных лицах и разных характерах, но одно и то же, а я всегда злюсь...”».

Последующая жизнь Свенцицкого не может не впечатлять событиями вполне в стиле сюжетосложения романов Достоевского, при сохранении того же достоевского радикализма: он бежит за границу, во Францию, спасаясь как от преследования властей за резкую критику официальной церкви ("Второе распятие Христа", 1908 и др.), так и от мести эсеров, поклявшихся расправиться с двуличным "пророком", по возвращении сближается с так называемыми голгофскими христианами (группа христианских социалистов, активно использующих учение Н.Ф. Федорова), совершает путешествие на Кавказ к христианским пустынникам. В 1917-м он принимает сан священника и становится проповедником в Добровольческой армии А.И. Деникина, затем несколько лет работает в московских храмах, участвуя в торжественных богослужениях вместе с различными архиереями и самим патриархом Тихоном. Свенцицкий резко обличает "обновленческую" церковь, а позднее "сергианство", церковную политику лояльности советской власти. Его талантливые проповеди, в которых он призывает к внутреннему, духовному противостоянию лежащему во зле миру (в чем властями усматривается противостояние режиму), его идеи "монастыря в миру" получают большую

известность. В 1922 и затем в 1928 г. о. Валентин репрессирован, в октябре 1931 г. он умирает в сибирской ссылке, покаявшись перед Церковью, прощенный и воссоединенный с нею[13].

По молодости и Николай Александрович Бердяев порою представлял себя Ставрогиным, аристократом, идущим в революцию, как он сам поведал об этом в философской автобиографии. «Мне всегда казалось неверным и выдуманным, что дух должен бороться с плотью (соблазнами плоти). Дух должен бороться с духом же (с соблазнами духа, которые выражаются и в плоти). Но мой дух бывал ложнонаправленным. У каждого человека, кроме позитива, есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне даже нравилось (напр⟨имер⟩, "аристократ в революции обаятелен", слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, походящее на маску). Во мне было что-то ставрогинское, но я преодолел это в себе. Впоследствии я написал статью о Ставрогине, в которой отразилось мое интимное отношение к его образу. Статья вызвала негодование»[14].

Наиболее радикальный пример такого философского "погружения", "вчувствования" – случай Василия Васильевича Розанова с его женитьбой на Апполинарии Прокофьевне Сусловой, прототипе Полины в "Игроке" и отчасти Настасьи Филипповны в "Идиоте" «В.В. ранее рассказывал мне как-то, что женился на Сусловой потому, что она была любовницей Достоевского, – вспоминает С.Н. Дурылин, говоря о письме Розанова с изложением истории его первого брака. – Это был брак "по психологии", брак по Достоевскому, – но совсем не по Розанову, не по автору "Семейного вопроса" и "В мире неясного и нерешенного" Брак – из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно "пожила", – не только с Достоевским, но (знал ли это В.В., когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. (...) В письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее, противопоставление того, что Розанов искал и что нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: "та, кого любил Достоевский"! – оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее самую жизнь: несмотря на "романтику", на "Достоевского", он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности "Бога Авраама, Исаака и Иакова" оказалось озлобленное безбожие шестидесятницы с постелью "принципиально" бездетной; вместо возлюбленной и нежной – озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полунигилистка, полу-Настасья Филипповна (из "Идиота"), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой "колыбельной песни" в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины –

"непрерывным раздражением" пленной мысли, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, – и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой "Песни песней", на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю...»[15]

Совсем недавно еще М.К. Мамардашвили, русскую философию, выражаясь мягко, не жаловавший, говорил: "...В истории философии, вообще, есть странные циклы, нечто вроде игры соответствий... Ну, скажем так, философия началась ведь, в сущности, с Сократа, и почему-то всегда, когда философия начинается снова, она начинается Сократом... Просто под другим именем... Так вот, в основе таких циклов лежит сократовский опыт. Он повторяется..." "Грузинский Сократ" имел в виду Декарта, но вот ведь какая интересная получается история: Декарт в его изображении, со своими отчаянными потугами выполнить самостоятельную мысль, само это "сознание вслух" все копившей впечатления и вдруг заговорившей *валаамовой ослицы*, "удивительное пробуждение мысли (...), некий полет освобожденного человеческого ума" (...), родившегося "в хрупком, болезненном и обреченном на раннюю смерть теле", более напоминает П.Ф. Смердякова, мыслителя, безусловно, французской ориентации. "Суть его философии можно выразить одной сложноподчиненной фразой: мир, во-первых, всегда нов (в нем как бы ничего еще не случилось, а только случится вместе с тобой) это "как бы" – изумительно! – *О.М.*), и во-вторых, в нем всегда есть для тебя место, и оно тебя ожидает. Ничто в мире не определено до конца, пока ты не занял пустующее место для доопределения какой-то вещи: восприятия, состояния объекта и т.д. И третье (не забудем, что прошлое – враг мысли, борясь с прошлым, мы восстанавливаем себя): если в этом моем состоянии все зависит только от меня, то, следовательно, без меня в мире не будет порядка, истины, красоты. Не будет чисел, не будет законов, идеальных сущностей, ничего этого не будет" Потому Павел Федорович и утверждает решительно: "Про неправду все написано", и затем, "вполне уполномочен в том собственным рассудком", последовательно "исключает все, что не сам воспринял, не сам пожелал, к чему не сам устремился, что не сам подумал. В состав своих мыслей, как бы говорит он (...), я не приму ничего, что не нашел бы и не признал бы в себе самом или не мог бы породить из себя. И все это – один на один с жизнью, с миром"[16]. И отсюда его онтология, предполагающее бытие, составленное из дискретных моментов личного выбора, а потому бытие существенно неполное, всегда дающее место для такого выбора, меняющего всю картину мира.

И тем не менее философия (или антифилософия) действительно, судя по всему, начинается Сократом. Только под другим именем. Мало кто обращает внимание на тот замечательный факт, что внешность Достоевского весьма напоминала внешность Сократа. Сам писатель это прекрасно сознавал – и не без удовольствия. Вот как писал об этом в "Русском вестнике" (1885. № 4) в своих воспоминаниях близко знавший Достоевского врач С.Д. Яновский: "Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы, при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень доволен, находил его сам (...)" Внешним сходством, понятно, восприятие Достоевского не ограничивалось. "Когда я, – продолжает Яновский, – припоминаю себе все, что воскресает во мне с именем Федора Михайловича, то есть его беспредельную гуманность, его неудержимую страсть к анализу, в самую душу забиравшемуся; когда я вспоминаю о том, как он любил ближнего и как постоянно стремился быть ему полезным своим разумным и честным словом; наконец, когда я представляю себе его кроткий, со сжатыми вплотную губами образ, похожий на Сократа, я более и более убеждаюсь в том, что Федор Михайлович от природы был назначен отнюдь не в инженерное или какое-нибудь техническое ведомство. Любимый им предмет изучения был душа человека"[17].

В заключение стоит напомнить и несколько строк из известного письма А.Н. Майкова к П.А. Висковатову, где описан эпизод "петрашевской" молодости писателя: "И помню я – Д⟨остоевск⟩ий, сидя как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество..." (18:192).

[1] См.: *Марченко О.В.* Очерки по истории философии. М., 2002. С. 70–82. Сочинения Достоевского цитируются с указанием в тексте тома и страницы по изданию: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.

[2] Уточнения и дополнения к комментарию Полного собрания сочинений Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1983. Вып. 5. С. 221–222.

[3] См.: Сократово учение, по Ксенофону: В виде разговоров: В 4 кн. / Переведено с греч. И. Синайским. М., 1857. С. 3; Это издание рецензировал Н.А. Добролюбов в "Современнике" (1857. № 11, отд. IV. С. 28–31); Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные профессором Санкт-Петербургской Духовной Академии Карповым. СПб., 1842. Ч. 2; То же. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1863. Ч. 1; Философские беседы Платона в рус. пер. Евтифрон, Апология Сократа, Критон, Федон. С приложением жизнеописания Платона, подробных введений и объяснительных примечаний / Пер. и издал А. Клеванов. М., 1861.

[4] "Существо, себя лишь во мне сознающее" отсылает, впрочем, не только к "демону" Сократа, но и к немецкой мистике и Гегелю.

[5] *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по истории философии. СПб., 1994. Кн. вторая. С. 84–85.

[6] См.: *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 109.

[7] *Одоевский В.Ф.* Русские ночи. М., 1975. С. 8.

[8] См.: *Гуардини Р.* Человек и вера. Брюссель, 1994. С. 41–45.

[9] *Иванов В.И.* Родное и вселенское. М., 1994. С. 283.

[10] *Соловьев С.М.* Владимир Соловьев: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 54.

[11] *Свенцицкий Вал.* Письма ко всем: Памфлет. М., 1907. С. 10.

[12] *Свенцицкий Вал., Эрн В.* Взыскующим Града. М., 1906. № 1. С. 34. Л.П. Карсавин в своем блестящем этюде "Федор Павлович Карамазов как идеолог любви" (1921) сумеет взглянуть на проблему иначе.

[13] См.: *Свенцицкий В.П.* Предсмертные письма / Публ. Р. Крепса // Минувшее: Исторический альманах. М., 1990. Вып. 1. С. 297; *Марченко О.В.* Свенцицкий (Свентицкий) Валентин Павлович // Сто русских философов: Биогр. словарь. М., 1995. С. 216–218; *Свенцицкий А.*[*Б.*] Они были последними? М., 1997.

[14] *Бердяев Н.А.* Самопознание: Опыт философской автобиографии / Сост. предисл., подгот. А.В. Вадимова. М., 1991. С. 35.

[15] *Дурылин С.Н.* В.В. Розанов / Публ. В.А. Десятникова // Начала. 1992. № 3. С. 46–47.

[16] *Мамардашвили М.К.* Картезианские размышления. М., 1993. С. 33, 34, 10, 11, 26, 176.

[17] Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 239.